

Глеб Иванович Успенский

Деревенские встречи



Очерки и рассказы (1862–1866 гг.)

Глеб Успенский
Деревенские встречи

«Public Domain»

1865

Успенский Г. И.

Деревенские встречи / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1865 — (Очерки и рассказы (1862–1866 гг.))

«Деревенские встречи» – первое произведение писателя, принятое Некрасовым к напечатанию в «Современнике», вторым были «Нравы Растеряевой улицы». В рассказе Успенского изображены среда провинциального духовенства и по-своему протестующий против этой среды дьякон Медников. Подобно другим писателям-демократам того времени – Н. Успенскому, А. Левитову и др., Успенский показывает невежество, неразвитость и стяжательство служителей религиозного культа. Недаром этот очерк привлек внимание цензуры.

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Глеб Иванович Успенский

Деревенские встречи

I

Нечаянные гости

Под вечер в доме литовского дьякона на столе кипел большой красный, с зелеными потеками, самовар, из аляповатой решетки которого по временам с треском вылетали большие искры. Дело происходило в комнатке с почерневшими стенами, большой стряпущей печью и маленькими четырехугольными оконцами, к которым большими гвоздями были прибиты тончайшие кисейные занавески с бахромой из красных шерстинок. За образом была заткнута большая кленовая ветка, далеко стлавшаяся по потолку: ветка эта, повидимому, служила непрерывным воспоминанием о дне «святыя троицы», но в сущности была предназначена для мух: мухи садились на нее, и поэтому их было меньше в комнате. Кое-где на стене болталась лубочная картинка, приколотая булавкой; вообще комната была бедна и грязна: чистая половина дома, только что отстроенная после пожара, стояла без рам, и поэтому там еще никто не жил.

Нечаянных гостей собралось довольно: кроме меня и приехавшей из посада мещанки, в комнате присутствовали: дьяконица, сам дьякон и дьяконский племянник, молодой исключенный семинарист. При появлении своем в горницу он несколько смутился, увидав чужого человека, и тотчас же было снова попятился в сени, но дьякон вытащил его оттуда за руку. Семен Матвеич (племянник) отошел к печи, кашлянул, тронул рукой шею, опять кашлянул, встал, сел, – вообще чувствовал себя неловко; но благодаря табаку, который предложил ему я, знакомство мало-помалу завязалось: незаметно от неудобств, сопряженных с добыванием в деревне табаку, о чем сообщил он мне, разговор перешел к охоте, к перепелам, и Семен Матвеич оживлялся все более и более. Скоро он уже, видимо, не стеснялся своим нанковым сюртучком, запыленным и отсыревшим, ни своими длинными охотничьими сапогами, ни вообще сознанием своей деревенской фигуры и неуклюжести. С каждым словом все больше выяснялась эта личность, страстно преданная деревенской жизни и природе, не имеющая никакой возможности как бы то ни было переродиться, делать не то только, что считается нужным у других, а только то, что можно любить делая, будь это охота на перепелов или ужение рыбы по целым дням. Разговорившийся Семен Матвеич постоянно встряхивал своими слегка вившимися белокурыми волосами, которые тотчас же снова закрывали половину лба, удерживаясь над бровью. Говорил он скоро, как скоро делал тощую папиросу и потом выкуривал ее в два-три приема, пуская в окно большие облака дыма, уносимые мгновенно вверх отсыревшим после проливного дождя воздухом.

Разговоры плелись вяло: вспоминали родных, причем дьякон всякий раз с умилением взглядывал на меня и, качая головою, говорил:

– Ах, боже мой, ах, боже мой, – я все гляжу-гляжу, – какая измена в лице? а как скоро время-то? Подумаешь – господи! Кажется, одна минута! – и т. д. Этому вторила и дьяконица, не менее своего супруга ахавшая и ужасавшаяся быстроте полета времени. Надоедало толковать о родственниках, – принимались благодарить бога за сегодняшний дождь; посадская мещанка и Семен Матвеич особенно плодovито говорили на эту тему: гречи, сена, овсы и проч. не сходили у них с языка; и нужно сказать правду, поэтический Семен Матвеевич умел заставить полюбить эти овсы и гречи человека, ничего не понимающего в хозяйстве: так хорошо умел он изобразить благодать, посланную дождем, – не указывая на рыночные результаты этой благодати. Иногда

разговор отклонялся от этих хозяйственных предметов, – и дьякон с Семеном Матвеевичем затевали Какой-нибудь спор, заставлявший дьякона восклицать:

– Ну да, так, так: по-вашему, мы выходим все дураки...

Вообще Семен Матвейч был героем вечера, и когда, наконец, все присутствующие в комнате замолкли, – он все-таки продолжал говорить, не переставая. На этот раз он с особенным увлечением восхвалял деревенские прелести:

– В деревне-то скучно? – говорил он. – Никогда! Да знаете ли, что из города-то я ушел? Просто убежал... Не могу! Хоть убей! Да как же-с? Как же не убежать-то? И семинарию бросил... убежал... Жить нельзя – мука... Есть нечего, зубри... Зимой – холод, живешь в яме... К чиновнику придешь; поясница болит, рожа зеленая, кряхтит, слова сказать не о чем. Думаю; да что я? из-за чего в самом деле? Да лучше я в деревню конторщиком: по крайности сыт всегда... Какие такие мне надобны дворцы? Ничуть не бывало! Заведу собаку, ружье, что мне? Зимой натоплю избу – знать никого не хочу... Мужиков набьется, – смех. На гармошке примусь – что угодно: пиэсы, «Не белы снеги...» На разные манеры. Думал, думал – драла!.. Там бумаги пишут: «Самовольная отлучка», то, другое... – Болен! – «...По этапу с ссыльнокаторжными, а равно...» – Болен! С тем и отвертелся... Верите ли, как рад-то! Прибежал домой, прямо в траву... Лежал, лежал – обомлел, такая прелесть... Ей-ей... Поле, лес, охота, – где ж скучать-то? Да теперь меня отсюда – ни-и...

Небо темнело; сверчки начинали переключаться за печкой; ребята дремали. В сенях дьяконская дочь укачивала ребенка, стучая углом люльки в стену; дьякон вспоминал, что завтра чем свет опять с навозом в поход надо. Кто-то из присутствовавших вздыхал. Наставало скучное время будничного, молчаливого и задумчивого вечера.

– А что, Авдотья Ивановна, – отнесся дьякон к жене: – не пора ли чего-нибудь этак... того?..

Дьяконица сказала: «сейчас!» и отправилась за перегородку. Скоро оттуда послышалось гроыханье ухватов, печной заслонки, треск лучины, и немного погодя яркий свет красного пламени осветил потолок, стену и окно за перегородкой. Старшая дочь накрывала на столе чистую скатерть, расправляя ее рукою, носила тарелки, ложки и вороха хлеба.

– Ну-с, прошу. покорно, – сказал дьякон, когда все было готово. – Не угодно ли. Уж что есть, – не взыщите, бога ради... Сами-то мы кое-как да кое-как, ну, а вот кто-нибудь случится... Да вам водочки не угодно ли?

– Водочки? Можно! – отвечал за всех Семен Матвейч.

– Право; я это сейчас дойду... Напротив...

Дьякон надел шапку, достал из шкафчика в углу маленькую стеклянную бутылку с перечным стручком на дне, засунул ее в карман и вышел в сени, но тотчас же воротился и, всматриваясь в темноту сеней, спрашивал:

– Кто это? Кто тут?

В сенях кто-то тяжело дышал и попадал палкою в стену, щупая дорогу; что-то грохнулось на пол; слышалось ворчанье:

– Ффу, боже мой!.. Никак это я... а-а! да-да-да...

Дьякон подался в сторону; в комнату просунулась рука с палкой, нога, прикрытая рваной полкой, и скоро я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге. Но стоило нам только пристальнее, хоть с минуту, остановиться на этом отеком лице гостя, его черных глазах, услышать еще раз звук его голоса, чтобы и я и все находившиеся в комнате узнали в госте Ивана Никитича Медникова, общего родственника, который пропал до этого времени целые годы неизвестно где. Стоило узнать Медникова, и никто не мог удержаться, чтобы невольно не вздрогнуть при этом, потому что у всех, знавших его, мелькнуло сразу множество самых неприятных – своим печальным смыслом – воспоминаний. Перепугавшиеся дьякон и дьяконица не знали, что сказать. Дьякон, впрочем, кое-как перемогся и, сло-

жив уста в улыбку, заговорил: «Боже мой, боже мой! какая измена в лице!», – но Иван Никитич остановил его строгим взглядом, брошенным искоса, подошел к образу и с театральным жестом делал огромного размера кресты.

– Какая измена в лице! – бормотал дьякон, усаживая гостя за стол. Гость был крепко хмелен и утомлен. Он почти не говорил, а с ним боялись заговорить, потому что не знали, скажет ли он на это что или прямо начнет драться. Никитич сидел, облокотившись локтями на стол, туго поворачивал голову и неподвижно останавливал глаза на ком-нибудь из находившихся в комнате; отрывисто вздыхал, как вздыхает тяжело пьяный человек, бормотал «мм-да!», или вдруг запускал руку в карман, выворачивал его, вытаскивал оттуда копейку и вместе с кучей сора, наполнявшей карман, вываливал ее на стол; потом упирался пальцем в эту копейку, нахмуривал брови, думал и вдруг снова брал все это в горсть и тащил к себе, вместе со скатертью. Всё это видели в Никитиче и прежде, во всем этом не могли ничего понять, но боялись дохнуть, потому что знали, что Никитич может вдруг раскроить голову. Немало изумились дьякон и дьяконица, увидев, что Медников уплел целую сковороду яичницы, несмотря на то, что были Петровки и что Медников был лицо духовное. Едва выпил он рюмки две водки, как глаза его почти тотчас же из мутно-пьяных приняли грозное, ненавистное, давно знакомое нам выражение. Дьякон опасался грозы, ибо чувствовал, что она может последовать каждую минуту, и мучился еще тем, что положительно не знал, за что она может последовать, не знал, с какой стороны и в каком роде угождать Никитичу. Поэтому он кашлянул слегка и, осторожно придвигаясь к гостю, заговорил:

– Отдохнули бы, Иван Никитич, чай, с дороги-то...

Иван Никитич устремил на него упорный взгляд, но дьякон, устояв кое-как под напором этого взгляда, потихоньку пропускал ему руку под локоть и продолжал;

– Право! Опять же и время, да и мы-то...

Пока дьякон возился, укладывая спать ворчавшего басом Медникова, вся остальная братия собралась на крыльчке – посидеть. Ночь была темная, дул ветер, и по небу неслись стаи дождевых туч; по временам кое-где тучи эти разрывались, пропускали в образовавшуюся прогалину клочок светлого пространства и смыкались снова. В избах и постоянных дворах светились еще огоньки, отбрасывая на стекла окон тени ужинавших извозчиков; у ворот постоянных дворов висели фонари с сальными огарками, оттопыриваясь на коротких гвоздях и освещая снизу пучок трепавшегося по ветру ковыля. Баба-дворничиха зачем-то вышла на крыльцо со свечкой; огонек свечи, казалось, только горел яркой звездочкой во тьме, но не светил далеко. Колеса медленно проезжавшей повозки застучали по бревенчатому мостику, перекинутому через шоссе-канаву, и чуть слышно покатались по земляной дороге мимо постоянных дворов. Спустя немного слышался разговор:

– Самоварчик-с? Можно... можно... Это сколько угодно...

– Нет, самовара не нужно...

– Ну, как вам будет угодно... Как угодно-с... А то, ежели в случае чего самовар потребуется, – так это в одну минуту... Потому у нас в трубу произведено... когда угодно...

– Нет, самовара не нужно...

– Не нужно? Ну, как угодно... Это как вам будет угодно... Конечно... Я к тому говорю, в случае ежели самовар потребуется, например...

– Почем овес?..

– Ах, боже мой! Неужто ж мы... Что мы такое? Господи боже...

– Почем овес-то?

– Да будьте покойны, сделайте милость... Аль мы что-нибудь... Что с других, то и с вас...

– С других-то это ты сколько хочешь... С нас-то сколько?

– Да будет вам... О господи боже мой... Чай, по времени-то сами знаете... Сами тоже деньги какие платим... Пятьдесят копейчек...

– Э-э-э!..

Слышны удары кнута.

– Стой! стой!.. Куда же вы?.. Позвольте...

– Н-но, идол... э-э-э...

Колеса снова стучат по шоссе. Удары кнута повторяются в усиленной степени.

– С пятаком за Дунай поехал, – грубо заключает мужеской голос.

Дьякон вошел на крыльцо и опустил на лавку.

– Ффу, боже мой... Устал. И какой беспокойный этот Медников... даже совершенно утомился... Ей-богу:.. «Послушай да погоди...» – «Спите, говорю. Сделайте ваше такое одолжение...» – «Прости меня...» – «Будьте покойны... Спите... Что такое? в чем?» – «Прости... виноват...» Чудак...

– Совсем смотался, – произнесла дьяконица. Отец дьякон только вздохнул.

Становилось все тише и тише. В кабаке, на продолговатых окнах которого торчали какие-то бутылки с красноватой жидкостью, слышалась песня и стучали чьи-то пьяные ноги.

Почти все сидели молча; дул ветер, и по временам издали доносилось:

– Э...Э...Э...Э...

– Куда же вы? Постойте, – останавливал другой голос. – Сделайте милость!..

– Э...Э...Э...

И опять удары кнута сыпались на лошадей, а колеса стучали по грохотавшим бревнам мостика.

– Не пора ли, господа, на покой? – сказал дьякон.

– И то!.. – сказали все.

– Право. Время... Да и опять с дороги-то вы... отдохнуть...

Все пошли спать. Семен Матвейч остановился в сенях с дьяконской дочерью и сказал:

– А что, ежели к вам забраться?

– Только посмейте...

– Ей-богу! Что ж за важность? Нешто меня в Сибирь за это?

– Да и не знаю, что я тогда с вами сделаю...

– А вот посмотрим... Любопытно!..

Семен Матвейч говорил это и в то же время отворял дверь в чистую половину, где нам пришлось спать. Утомленный ходьбой целого дня, Семен Матвейч был как-то неразговорчив, да и сон одолевал его, как уставшего ребенка: глаза так и слипались. Лежа, начал он стаскивать сапоги; снял один, принялся другой снимать – что-то туго идет. Семен Матвейч сказал: «О, шут тебя... и так!» – повалился и заснул в одном сапоге.

...Улеглись все, лег и я, но не спалось. Ветер, урывками залетая в окна, не защищенные рамами, свежую дождливую сыростию обдавал мое лицо и шевелил сухими стружками, валявшимися по углам и на полу комнаты. Среди темноты и тишины ночи мне как-то особенно настойчиво лезло в голову все, что только я когда-нибудь имел возможность видеть или слышать о Медникове, и поэтому фигура его все определеннее выступала предо мною.

II Никитич

Еще в ту далекую пору, как мне впервые приходилось видеть Медникова или слышать что-нибудь про него, – имя его способно было уже производить такой же трепет и ужас, какой обуял теперь все семейство литовского дьякона; и тогда едва ли не во всей Т-ской губернии весь духовный кружок знал хоть понаслышке про тьмы тем всяческих безобразий и беззаконий, которые неразрывно следовали за именем Медникова и положительно не допускали мысли насчет какой-нибудь терпимости этой буйной головы в мирной жизни, потому что действительно Медников был осужден всею своей природой никогда не жить и не уживаться с этой жизнью. Тем более нетерпим и ужасен был он среди своих деревенских родственников, которые должны были переносить его беспутства, – почти обязательно, не сходясь с ним при этом ни в чем. Все характерные особенности деревенских родственников, которые отгораживали от себя личность Медникова, имели возможность выказаться вполне благодаря случаю, который можно считать почти общим для всего духовного мира.

Как только количество ребят возрастает настолько, что их нет никакой возможности усадить в телегу и даже в две, отношения деревенских родственников начинают слабеть, дружественные связи стухевают, потому что за многочисленностью ребят посещение именин и храмовых праздников становится почти невозможным. Ребята, между тем, появляются все в большем и большем количестве, родственники стареются, и настает пора, когда не пишется даже поздравительных писем к рождеству и святой, – родственники как будто исчезают друг для друга с лица земли и забываются. Тишина царит. Вдруг по селам и деревням проносится, как вихрь, весть, что такой-то из числа множества племянников, только с год места успевший определиться в писцы губернского правления, – так препрославился, такие дела делает, что уму непостижимо; управляющий сажает его за один стол с собой, в лавках он забирает все без денег: мука, крупа, свечи, все непокупное, и кроме того, ежели захочет, то может кого угодно отдать под суд и в Сибирь сослать... Это сразу поднимает на ноги приунывших родственников; восстают они поголовно до десятого колена, припоминают разные обиды и поношения, припоминают тысячи нужд, начиная от башмаков и жениха для дочери, от корыта – до разорвавшейся шлеи и кончая жалобой на благочинного и даже далее, до бесконечности... Поднимаются эти десять колен, запрягают, для большей жалости к своей фигуре, самую тощую, самую ободранную лошадь и спешат на разгоревшийся огонь – отогреть свое изболевшее всяческими горестями сердце. Вместе с тайною надеждою на подачку с первых же шагов в городе родственнику приходится испытать еще и трепет по мере приближения к цели: на каждом шагу он убеждается в действительной славе своего племянника, – потому что стоит ему спросить у встречного: где живет такой-то? – как этот встречный тотчас же снимает шапку и тогда только отвечает: там-то. Огромные новые ворота, к которым темным вечером подползли сани деревенского родственника, огромные сараи, конюшни и десятки сажень дров, разместившиеся на дворе, – все это рисовало в голове его какого-то богатого Лазаря, на котором даже ваточный халат почему-то казался пурпуром и виссоном. Сообразно с таким величием дух и тело родственника умялись до последнего предела, он не иначе решался показать свои глаза в комнату, как узнав предварительно в кухне: «не почивают ли?» Умывался, расчесывал волосы, с женоподобной физиономией шел в горницу, перекрестившись перед дверьми. Прославившийся племянник оказывался разжившимся секретарем, обладавшим всем, чему завидуют живущие впроголодь: жена высокая, тихая, постоянно беременная, дом полная чаша, жизнь ленивая и почти всегда неряшливая, дети смирные, послушные, с большими головами, золотухой и отупевшим взглядом. Увидав все это, деревенский родственник не смеет даже сесть к столу и пьет чай у двери,

держа стакан на колене, и в это время убитым голосом передает все деревенские новости, заканчивая их известием о разнесшейся по всем селам и весям славе его, племянника, чиновническое лицо которого деревенский родственник созерцает в эту минуту. Последнее известие приятно действует на племянника, и деревенский родственник получает право неутешительного житья, чем он и пользуется по-своему, выказывая при этом такие качества, имена которым можно брать только из истории ветхого завета, и притом не позднее появления десяти заповедей: «любостяжание», «лжесвидетельство», страстное желание «чужого осла и вола и всякого скота». Это обнаруживается на другой же день, тотчас же по уходе племянника в должность. Родственник выходит «поболтаться» по двору; при дневном свете все эти сараи, водозвожки, закромы овса и проч. и проч. до такой степени раззадоривают его библейские похоти, что родственник, ни минуты не задумываясь, решается вступить в знакомство с кучером; а так как кучер представляется ему тем, что в старинных книгах, сказках и житиях встречал он под названием «царедворец», то и знакомство с этим царедворцем родственник начинает исподтишка, ласково, вкрадчиво, говорит ему «вы», узнает, сколько лишних хомутов, шлей и проч. и проч., и своею обходительностью побеждает мрачный вид кучера, который скоро беспрепятственно вручает ему эти лишние хомуты. А когда племянник возвращается из должности, то бывает несказанно изумлен, наткнувшись в передней на гору собранного утром хлама; гора эта начинает шевелиться, и скоро из середины ее выдвигается умиленная физиономия родственника и произносит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.